

Посреди базарного гвалта, в суете людской, вдруг что-то тихое, пронзительное схватило за душу. Наташа замедлила шаг. Под музыку Шопена перед глазами вспыхнули картинки детства. Папа играет на баяне. Вдохновенное лицо. Улыбка в глазах. Молодая мама в шелковом синем платье вносит блюдо с виноградом. Гости хлопают исполнителю: «Браво!» Папа подмигивает Наташе. Родители поют...

«Весенний вальс» Шопена на аккордеоне исполняла величавая престарелая дама в шляпке, в кружевной белой блузке, в длинной черной юбке. Она сидела на каком-то ящике, возле ступенек, ведущих в подземный переход. Рядом громоздился футляр от аккордеона. Иногда в груду мелочи на полиэтиленовую подстилку под ноги со звяканьем падала очередная милостыня, и дама произносила в удаляющуюся спину жертвователя: «Сердечно благодарю». Но вот она отставила аккордеон, достала из мешка футляр со скрипкой. «Рондо» Никколо Паганини собрало горстку слушателей и несколько бумажных купюр. Наташа опустила на землю авоську с покупками. «Каприс №24» Н. Паганини — одно из любимых в их семье. Бом-бом... Отдаленный перезвон церковных колоколов вернул в реальность. «Опаздываю уже!» Открыла кошелек — на милостыню для музицирующей нищенки ничего не осталось. Положила два яблока. Бабушка продолжала играть на скрипке. Глаза ее были закрыты. Наташа подняла упавшую с головы незнакомки шляпку, подержала в руках, пристроила рядом с яблоками.

Старушка при близком рассмотрении производила впечатление неряшливого человека. Пакля седых волос на плечах. Давно не стриженные грязноватые ногти. Несвежая блузка. У Наташи сжалось сердце. Она вспомнила последние годы жизни мамы, переставшей после папиных похорон ходить. Как подстригала ей ногти на руках и ногах, делала неуклюжие стрижки. Приносила в зал цинковую ванну для банных процедур. Но потом ноги мамы отказались ее держать. Чтобы искупать мать, Наташа теперь обкладывала ее, сидящую на диване, клеенками.

«Забегу сюда по пути в церковь и дам ей денег», — с таким реше-

нием заторопилась домой. Но — забыла, и лишь к концу службы вспомнила о своем намерении. Южные сумерки быстро охватывали вечерний город. «Может, завтра она снова придет», — Наташа собиралась, выйдя из троллейбуса, повернуть в направлении своего дома. Она бросила взгляд в сторону рекламных щитов над перекрестком возле Центрального рынка, вспомнила, какие вкусные котлеты наготовила сегодня на обед. Настроение было хорошее, скорее бы домой. Вокруг люди спешили к семьям после рабочего дня. Никто не смотрел по сторонам, не глядел в лицо друг другу, все были заняты собственными думами, все устали и хотели скорее лечь спать. И вдруг она зашагала туда, где в это время обычно пустынно, а подземный переход уже перегорожен решеткой с замком. Ветерок холодным сквозняком пробежал по голым ногам, забирался под легкое платье. Она поежилась. Опять забыла взять из дома на обратный путь теплую шаль. Предчувствие не обмануло. Еще издали увидела знакомую фигурку. Старушка сидела, нахохлившись, как будто дремала. Аккордеон был спрятан в футляре. Из двух яблок, подаренных Наташей, осталось одно. На асфальте валялся накопившийся за день мусор — бумажки от мороженого, фантики от конфет, банановая кожура. Из-под ног с гроыханием катились пивные бутылки. Тощий кот выглянул из-за переполненной мусорной корзины с надеждой на подачку и приветственно промяукал. Со стороны стадиона доносился гул болельщиков. Из открытых окон многоэтажек вырывались приглушенные позывные телевизионных программ, где-то диктор бубнил сводку новостей.

Наташа нерешительно приблизилась. Она не знала, что скажет этой незнакомой женщине.

Услышав шаги, старушка очнулась и громко сказала:

— Наташа, это ты?

— Я, — удивилась Наташа.

— Я тебя заждалась. Пошли быстрее домой. Ноги замерзли.

Наташа озадаченно посмотрела по сторонам. Вдали мелькнул силуэт охранника.

— Я сейчас, — сказала она и побежала к мужчине.

— Аккордеон? До завтра? Хм... Да куда я его спрячу, — ответил тот, и собрался идти дальше. Наташа растерянно оглянулась на свою странную знакомую, перекрестилась и возвала из глубины души, как обычно это делала в трудных ситуациях: «Господи, помилуй! Господи, помоги!» И чудо произошло. Охранник сказал: «Ладно. Давай уж». Ни он, ни та старушка не могли слышать слов молитвы. Да разве могут окружающие люди слышать чужую душу. Но вот кто мог точно

откликнуться, так это Бог. Наташа уже знала, что у Бога прекрасный слух. И более того, прекрасное зрение. Она давно поняла, что в этой жизни может помочь только Бог. Никто иной. И когда Он отвечал на ее просьбы маленькими чудесами, как вот сейчас, она радовалась, но хранила от всех свою тайну. Вокруг был мир тех людей, из которых мало кто догадывался о столь близком присутствии Бога в их жизни. Может быть, поэтому Он не спешил ко многим из них на помощь. А может, они сами Его прогоняли своим равнодушием.

Бабушка крепко оперлась на руку спутницы и застучала перед собой палкой, ощупывая дорогу. «Она слепая»,— поняла Наташа. Дома она усадила гостью за кухонный стол, и они вместе наелись котлет. «Она считает, что я ее дочь»,— думала Наташа, поглядывая на низко склоненную над тарелкой голову старухи. Та ела жадно, пальцем подталкивая куски котлеты на ложку.

— А ты знаешь, я уже забыла, когда в последний раз ела мясо. Да еще котлеты. Наверное, это было, когда я еще сама готовила, и мои глаза были вполне нормальные,— сказала, наконец, старуха.

И одобрительно добавила:

— Тебя как подменили.

Она отодвинула тарелку, положила голову на руки и уснула. Когда Наташа вымыла посуду и приготовила все для купания, бабушка проснулась и сказала:

— Наташа. Ты не представляешь, как стало спокойно на моей душе. Наконец ты перестала браниться, как извозчик.

После купания в цинковой ванночке, переодетая во все чистое, с подстриженными ногтями, бабушка снова, уже до утра, уснула. Внутри мешка под футляром со скрипкой Наташа обнаружила пакетик с документами и письмо:

«Для тех, кто найдет эту записку и прочие причиндалы, а вместе с ними мою мать, прошу меня не разыскивать. Бесполезно. Мне не до нее. Предупреждаю тех, кто рискнет через милицию воздействовать на меня — это тоже бесполезно. Мой новый муж сильно крутой. Ему море по колено. Мафия — она и в Африке мафия. Кстати, по указанному в паспорте матери адресу меня больше не найдете. Там теперь другие люди. Всем чао».

«Наверное, она была пьяной, когда писала. Проспится, будет плакать»,— подумала Наташа и утром пошла к подземному переходу в надежде увидеть там взволнованную тезку.

Торговка семечками на расспросы пожалала плечами и принялась жаловаться на цены, бомжей и милицию:

— От бомжей уже весь город провонял. Дышать нечем. Вот кого го-

нять-то надо. А они, менты, за нас, бабок, уцепились, словно за мафию.

По пути на работу Наташа теперь делала крюк. Вновь и вновь приходила на условленное место, слушала сетования торговки семечками. Но автор записки или, как предполагала Наташа, была каждый день пьяна, или написала правду по поводу «бесполезно». И тогда учитель музыки Наталья Викторовна набрала на школьном компьютере объявление: «Наташа! Ваша мама, Светлана Ивановна Казанцева, у меня», а вместо подписи номер телефона. Развесила по городу, разместила в местной газете. Позвонили два раза. Но не те, кто надо.

«Как ей будет плохо, когда она придет в себя и поймет, что натворила», — ужасалась и жалела Наташа свою тезку.

Бабушка пребывала в полной уверенности, что она дома у родной дочери. Высказала удивление, зачем переехали на другую квартиру и теперь надо заново привыкать к обстановке. «Так вот что означали твои слова о каком-то сюрпризе для меня и новой квартире. Честно говоря, я побаивалась, что под «новой квартирой» ты подразумевала кладбище», — простодушно объясняла Светлана Ивановна. И продолжала: «Но когда в последний раз вы привезли меня на его драндулете побираться, у тебя был такой добрый голос, что я вдруг почувствовала хорошие перемены. Интуиция меня не обманула».

Внезапное и кардинальное улучшение в отношениях с мнимой дочерью затмили все бытовые нюансы, связанные с изменившейся обстановкой в новом жилище. Фактически, до быта Светлане Ивановне в этой завершающейся жизни, видимо, и без того давно не было дела.

— Наконец, у тебя нормальный голос, без этих твоих истерических интонаций. Я бы даже сказала, что твой голос вообще стал другим. Что значит, очиститься от зла. Я не знаю, в чем причина перемен, но полагаю, это связано с твоим бандитом. Ты вовремя от него избавилась. Или он от тебя, но это не важно, кто от кого. Главное, ты стала другой. И я тебя больше не боюсь. А ведь от криков-визгов человек рискует превратиться в животное. Например, в собаку. Я, кстати, за тебя опасалась. Ты ведь и правда начинала напоминать собаку. Целыми днями лаяла на меня... А сейчас я спокойна, — слышала от своей второй матери Наташа и не противоречила.

Бабушка попеременно играла на аккордеоне и скрипке, и ликовала, что дочь больше не заставляет ее «клянчить милостыню»:

— Я знала, что в тебе заговорит совесть. Я не ошиблась в тебе.

Наташе хотелось расспросить о подробностях жизни своей подопечной, узнать о том, где было получено музыкальное образование, кем приходилось работать в течение жизни, но хоть любопытство и распирало, держала язык за зубами. Одно неосторожное слово — и

идиллия для бабушки рухнет. По этой же причине не решалась и расчехлить папин баян.

— Знаешь, там так противно сидеть. Вроде пальцы музыку играют, и музыка чудная, и люди даже иногда что-то хорошее говорят, деньги бросают, а на душе муторно, спина от напряжения болит, ноги стынут,— делилась Светлана Ивановна воспоминаниями о периоде нищенства.

Однажды она с тревогой в голосе спросила:

— А Нинка этим летом снова приедет?

Наташа уверенно сказала:

— Нет.

Новая мама воскликнула:

— Вот это лучшая новость за все последние месяцы!

Наташа не выдержала и полубопытствовала:

— А почему?

— Ну как почему. Неужто забыла, как твоя распрекрасная дочечка меня подушкой душила? Да ты, небось, как всегда, в своем телевизоре сидела, за закрытой дверью. Вот уж не любила я эту твою манеру — закроешься от меня на все замки, телевизор включишь на полную катушку, и хоть ори не ори, никакой реакции. Словно меня и в живых нет.

— Я про подушку не знала,— честно сказала Наташа.

— Все ты знала. Просто стыдно вспоминать. Ладно. Кто старое помянет — тому глаз вон,— миролюбиво сказала мама.— Ну, так я тебе рассказываю. Уж не знаю, при тебе или нет, она заявила (старушка тоненьким голосом передразнивает внучку): «И когда только бабуля сдохнет?» Это она своему мужу так сказала. А я услышала. И ее спрашиваю: «А тебе-то что, все равно в другом городе живете, я вроде вам не мешаю». А эта кикимора говорит (бабушка снова делает тоненький голос): «Да мне, бабуля, на тебя начхать. Квартира твоя нужна». Говорю ей: «И на что же тебе моя квартира?». Тоненьким голосом: «А я ее продам». — «И что же ты будешь с деньгами делать?» — «Машину куплю. И буду как королева»... Тьфу.

Бабушка замолчала, закрыла глаза. Стало тихо. Через открытую форточку в комнату врываются пересвистывания носящихся по вечернему небу ласточек. Покачала головой и продолжила:

— Я тебе давно хотела сказать. Не люблю Нинку, хоть и внучка мне. Не люблю. Чужая она. Копия твоего первого мужа. Такая же. Глаза завидушие. Натура жадная. С детства мне пакости делала. Из карманов деньги у меня таскала. Сколько с поличным ловила, а ей хоть бы что. Ты учти, Наташа. Она не только моей, но и твоей смерти

ждет. Ей квартира важнее матери.

— Мама, а когда же она тебя душила? — спросила Наташа.

— Это когда я болела. Стонала сильно. А ты что-то все злая на меня была. Пенсию мою забирала, а лекарств не покупала. Я у тебя обезболивающих просила. А ты говорила — потом да потом.

Она сделала паузу и подняла палец:

— Между прочим, я сейчас намеренно тебе на совесть давлю. Хотя ты всю эту эпопею с лекарствами отлично помнишь, но уж больно хочется еще раз ткнуть тебя носом в твоё дерьмо. Ладно. Что это я. Сама же и начинаю.

Она снова выдержала многозначительную паузу. Вероятно, ей было приятно обнаружить тишину в ответ на свои обличения. Это было для нее явно непривычно, и ей хотелось насладиться подобным сюрпризом. Пошамкала ртом, словно собираясь плюнуть, и продолжила:

— Вот я стонала. А Нинке спать хотелось. Она и давай меня подушкой давить. Только благодаря ее мужу жива осталась. Он подскочил, как заорет на нее (старушка делает грубый, басовитый голос): «Ты что, дура, в тюрьму захотела?!»

Наташа зажмурилась, горло перехватило от подступивших рыданий. Ей было невыносимо жалко одинокую старую женщину, столь необыкновенным образом ворвавшуюся в ее судьбу. И вновь вспомнила то, что терзало душу уже пятый год, с того момента, как в реанимации мама долгим взглядом попрощалась с ней. Она не могла простить себе ничего из того, что позволяла себе в отношении родителей при их жизни. Как огрызалась на их советы, как восклицала с раздражением: «Ну что вы все меня учите! Сама знаю!» Мама любила провожать ее до двери, потом стоять на балконе и смотреть дочери вслед. Но и это порою раздражало. Однажды Наташа принесла в дом купленные за немалые деньги ходунки и объявила: «Ты снова сможешь ходить». Мать с недоверием посмотрела на появившееся перед ней «доробло». Привстала на трясущихся ногах, навалилась всем корпусом на поручни, и ни с места. «Ну же, давай!» — сердито кричала Наташа, выйдя из себя. Ей казалось, что мать притворяется. И лишь когда мама втянула голову в плечи (после того, как Наташа вдруг замахнулась на нее), дочь опомнилась, отшатнулась, забрала ходунки и отнесла в подарок престарелой соседке. И вот этот момент, безобразная картина, как мать втягивает свою коротко стриженную седую голову в плечи, и над ней нависает рука дочери, уже почти готовая ударить,— это стало ежедневным и ежечасным уколом совести в сердце, жгучей болью души.

Она верила в милосердие Господа, верила, что Он, Человеколю-

бец, простил все ее человеческие подлости и слабости, о чем она излила душу на исповеди в церкви. Но жар раскаяния не унимался, видно, по другой причине. Она вспоминала маму и папу, те минуты, когда обижала их грубостью, равнодушием, ранила невниманием. Глубокое сочувствие отчаянию родителей, которого она, как слепая, не замечала на тот период, осознание их внутреннего одиночества рядом с дочерью, вот что не давало покоя, вот что заставляло вновь и вновь всхлипывать в непреходящей, страшной жалости к родителям и одновременно реветь над своей, как она считала, гадкой, нестерпимо мерзкой жизнью.

Пока Наташа пропадала в школе, вела уроки, классные часы, сидела в учительской над заполнением журнала, мама дома в одиночестве плакала. Она, вероятно, плакала всегда, когда оставалась одна. Ибо всякий раз, придя с работы, Наташа обращала внимание на то, какие красные глаза у матери. «У тебя случайно не конъюнктивит, мам? Давай-ка глаза промоем», — предлагала она. Но мама отмахивалась, озабоченно глядя в только что включенный телевизор, и наигранно бодрым голосом восклицала: «А, не мешай». Наташа знала — телемишуру для мамы в последние годы заменили молитва и духовное чтение. А манипуляции с включением телевизора были попыткой скрыть то, внутреннее, сокровенное, те слезы, те молитвы, которыми мама фактически жила.

Наташа откладывала хозяйственные хлопоты, садилась рядом с мамой и слушала ее воспоминания о прожитом. Эти мгновения, вырванные из распорядка дня, оказались теперь утешением и отрадой.

Она вспоминает их лучшие совместные минуты. Открывает семейные альбомы и окунается в мир радости. Вот они втроем на море. Смеются, окутанные брызгами шторма. Вот мама обнимает Наташу, они на ВДНХ, а на асфальте тень папы с фотоаппаратом в руках. А вот папа купил всем по брикету «пломбира», но порции оказались слишком большими, и пришлось мороженое скармливать голубям. А вот они идут по Калининскому проспекту. Еще несколько шагов и очутятся в ресторане, где стол будет заставлен тарелками с деликатесами, а к черной икре принесут вырезанное в форме лепестков и ажурных бочонков сливочное масло. Мама и папа, по приезду в Москву, любили посещать Калининский проспект по причине самой прозаической. Там был хороший по советским временам выбор необходимых магазинов. Это, собственно, и было основной целью путешествий в Москву-столицу, как центр продуктового и вещевого изобилия. Эпоха советского дефицита вынуждала прибегать к подобным ухищрениям. Но вместе с тем эти семейные поездки были насто-

щим праздником дружбы для папы, мамы и маленькой Наташи.

Воспоминания кружатся в голове, и кажется, это планета кружится вокруг своей оси, возвращаясь туда, где те же события и люди, планы и мечты... Вспоминается, как по утрам мама будила ее, целовала и щекотала, придумывая для дочери ласкательные имена... Папа учил Наташу печатать фотографии. Они закрывались в оборудованной под фотомастерскую спальне и оказывались в таинственном мире тьмы и света, где начинались манипуляции превращения фотопленок в фотографии.

По мере взросления Наташа как-то незаметно для самой себя стала отдаляться от родителей. Из главных и самых дорогих в жизни людей они превратились для нее просто в родителей, одолевающих своей опекой. Она все время куда-то бежала, чего-то ждала, ей казалось, еще миг, и что-то очень важное для нее произойдет в этой жизни, и все изменится, и она будет счастлива. Заботы и суета, работа и подрастающий сын, многое волновало ее, но родители в этом перечне были далеко не на первом месте. И лишь когда кто-то из них заболел, Наташа словно просыпалась, волновалась, металась по аптекам, больницам, и возвращалась к самой себе, той, настоящей, любящей дочери.

С отцом и матерью, вдруг ставших в конце жизненного пути старательными посетителями воскресных Литургий, согласилась, неожиданно для себя, ходить на церковные службы. Приход к Богу преобразил всю семью. Молитвенное настроение, воздыхания к Господу, говение по средам и пятницам, держание согласно церковному уставу многодневных постов, чтение Евангелия, Псалтири, духовной литературы, слушание духовных песнопений — все это стало для каждого из троих ошеломляющим изменением привычных основ жизни. Они с жадностью потянулись к духовному преображению, и это напоминало ощущения путников в пустыне, обнаруживших после длительных мытарств воду. Возникшее за последние годы отчуждение между дочерью и родителями растаяло. Втроем делали вылазки к морю, совершали перед сном совместные прогулки по парковым аллеям. Она больше не замыкалась в себе и рассказывала родителям истории из жизни учеников, описывала, как прошел очередной день, где была, что видела и слышала. Родители ждали ее к ужину и старались без дочери за стол не садиться. И уже вскоре после кончины отца взяла себе за правило целовать маму перед тем, как выйти из дома. И хотя срывы еще бывали (как эта, не дающая покоя, история с ходунками), ничем не оправданное раздражение на мать нет-нет, да и снова возникало, но теперь победить себя оказывалось легче.



Последнюю неделю жизни матери Наташа пребывала рядом с ней в реанимационном отделении кардиологии. Это были драгоценные часы самого близкого единения с матерью за всю их земную жизнь. На свои попытки просить прощение Наташа встречала материнское ворчание, мол, не говори глупости. Ведь все у нас с тобой нормально.

— Мамульчик, случилось, я на тебя кричала, я себя так плохо вела, ты не обижайся, ладно,— Наташа не могла выразить этими грубыми, холодными словами то горячее, то всеохватывающее внутреннее чувство раскаяния, каким ежеминутно пылала ее душа. Ей особо хотелось сказать о том постыдном случае с ходунками, но язык даже не мог выговорить, настолько тяжело было это вспоминать. Но в глазах матери она видела такую любовь, что слова замирали на губах, и она просто стояла на коленях рядом, прижавшись лицом к маминой ладони.

За сутки до кончины мама попросила привезти священника и причаститься. После Причастия она словно ожила, голос ее окреп, и врачи стали надеяться на поворот к лучшему. Она сказала Наташе:

— А ведь благодаря тебе мы с твоим папой пришли к Богу.

— Как это? — удивилась Наташа.— Я ведь к Богу пришла лишь благодаря вам.

Мама объяснила:

— Мы переживали за тебя. Твое отчуждение вносило в нашу жизнь тоску. Однажды на прогулке ноги как-то сами собой привели в церковь. Не сговариваясь, мы поверглись перед Распятием на колени, прося помощи у Бога, в которого и верили, и не верили.

...Наташа вздрогнула от телефонного звонка, оборвавшего воспоминания.

— Мама, может, все же, я приеду и заберу к нам? Что ты одна да одна,— уговаривал в очередной раз по телефону сын.

— Нет-нет, я никуда не поеду,— отвечала Наташа и оглядывалась на дремлющую Светлану Ивановну.

Иногда Наташе чудилось, что новая мама начала догадываться, кто есть кто, но не подает вида. И тогда она придумывала отвлекающие маневры в виде подарков — вязаные носки, вкусные пирожные... Ей не хотелось, чтобы Светлана Ивановна узнала правду, не хотелось, чтобы разочаровалась в другой, родной дочери, пусть на этот момент и плохой. «Когда-нибудь ее дочь обязательно опомнится и будет рыдать, и будет терзаться не только до гробовой доски, но и в загробной жизни, и это еще страшнее, это навсегда»,— думала Наташа и поднимала глаза к небу.

«Я встретил вас, и все былое...» — пели вдвоем — теперь уже с но-

вой мамой. «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло». Им было светло. Каждая из них вспоминала свое. Они не называли вслух то, о чем думалось. Но на лицах у обеих было написано — это те, одни из лучших дней былого. У каждой — свои. «Не уходи, не уходи... Восторг любви нас ждет с тобою, не уходи, не уходи». Жизнь с ее сегодняшними заботами отодвигалась за шторы, в ночь, за окно. А тут, под старомодным абажуром, возле вынутого из чулана самовара, вместе с чаем кипели воспоминания, и что-то стучало в души, словно сама жизнь повернула вспять. Сейчас откроется дверь, и кто-то скажет знакомым голосом: «Ну-с, дамы и господа, а не хотите ли в театр?» Ах, где ты, юность, где вы, романтика и чистота ушедших неведома куда лет и зим... Наташа с грустью вспоминала глупости своей жизни, развод, одиночество, как папа и мама помогали ей воспитывать сына...

Встряхивала головой, чмокала перед сном новую маму и шла в свою комнату читать молитвенное правило. Но вместо того, что было написано в молитвеннике, ее сердце взывало своими словами: «Господи, дай ей счастья. Пусть она будет счастливой. Пусть она будет жить еще долго-долго!» Ее импровизированная молитва сливалась с плачем, и уже ничего не видя от слез, она долго делала перед иконами земные поклоны, умоляя Господа упокоить души ее родителей. Она обращалась, как к живым, к папе с мамой, оглядываясь на их фотографии на противоположной стене, изливала им свое, с запозданием, очнувшееся сердце, умоляла простить ее, рассказывала о том, как казнит себя и как скучает по ним... В этом страстном шепоте, горячечном лопотании она, уткнувшись лицом в колени, сотрясающаяся от сдерживаемых рыданий, походила на безумную. Она верила, что родители в этот момент ее слышат, и от этой веры приходила в еще большее иступление, питаемое радостью небесной встречи и тоской земной утраты одновременно. В этих воплях души она отдавала родителям свою дочернюю любовь, которой так скупно делилась с ними при жизни. И долго слышалось в ночной тишине бормотание «Господи, помилуй!» и стук коленей и лба об пол. И далеко где-то в ночи заунывно выла, портила всем сон тоскующая о чем-то своем уличная собака.

«Отговорила роща золотая березовым, веселым языком...» На складной скамейке сидел старик с баяном и пел романсы. Перед ним лежала фуражка, на дне которой блестело несколько монет.

— У тебя есть деньги? Положи ему побольше, — сказала мама.

Они шли по осеннему парку.

— Я тебя никому не отдам,— сказала Наташа.

— Я знаю. Наконец ты стала прежней, как в детстве. Когда мы с тобой дружили,— ответила мама.

Она крепко опиралась на руку Наташи.

— Как хорошо-то, а? — вдыхала мама полной грудью воздух.

Наташа вынула из кармана клочки отодранных от столбов объявлений («Ваша мама, Светлана Ивановна Казанцева, у меня») и швырнула широким жестом, словно сеятель над полем.

— Настоящий запах осени. Листья под ногами. Я слышу, как они шуршат,— сказала мама.